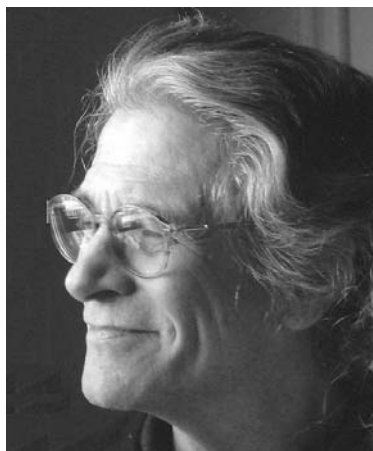


Лесли Эпстайн

[147]

ИЛ 8/2020



Язык птиц

Перевод ПАВЛА ЗАЙКОВА

1

С чего начать рассказ? Где первопричина всех следствий? Чтобы понять, приходится погружаться все глубже и глубже в прошлое. А все понять, как сказал тот француз, значит все простить. Задача не из легких. Только Богу да, может быть, еще ангелам дано видеть все, от начала и до конца. А раз уж нам, смертным, это не по силам, то давайте обратим наш взор на один лишь маленький храм, точнее синагогу, или шул¹, — здесь жарким утром в Шабат и начнется наша история. Что это за место и как оно называется не важно. Так уж вышло, впрочем, что находится оно в городе средних размеров, где-то в Америке. В районе с ортодоксальными нравами, где евреи сидят по домам, вознося молитвы, а другие евреи, очевидно не столь ревностные, разгуливают по улицам, не боясь, что молния поразит их за это.

© ПАВЕЛ ЗАЙКОВ. Перевод, 2020

Рассказ публикуется с любезного разрешения автора.

1. Шул на идише означает “синагога” или “школа”. (Здесь и далее – прим. перев.)

Давайте пройдем сквозь эти деревянные двери. Даже в наши беспокойные времена никто не пытается преградить нам путь. Врата святилища открыты для всех. Внутри, погруженные в молитву, стоят мужчины. Один из них обращается к Богу особенно истово: сдвинув стопы, он раскачивается из стороны в сторону, губы его энергично движутся, но слышен лишь негромкий шепот. Даже стоя рядом, не разобрать слов, хотя, разумеется, молитва его во славу Щита Авраамова, ибо по воле Его воскресают мертвые, а по милости — нисходит роса небесная. Зовут юношу Фейвел Морозов. Хотя на самом деле не столь уж он и юн: ему уже двадцать шесть, но редкий пушок на подбородке, небесно-голубые глаза и угри, цветущие на бледной коже щек, придают ему невинный, простодушный и по-детски доверчивый вид.

Но вот этот самый Фейвел, не переставая воссылать хвалу и благодарность небесам, вдруг потянулся правой рукой к шее и принялся тереть ее в одной точке на загривке между тугим черным воротничком и падающими с затылка завитками кудрей. Минуту спустя он сделал это вновь. Что-то словно давило на кожу — солнечный зайчик? Но нет: утренний свет трапециями ложился на стену и на пол по левую руку от него. Молодой человек сделал три шага назад, удаляясь из области присутствия Вседержителя. Но и сев на скамью, он продолжал чувствовать зуд. Он провел по шее рукой, словно пытаясь смахнуть назойливое насекомое. И на несколько мгновений свербящее ощущение исчезло, так что удалось даже сосредоточиться на канторе, который теперь повторял вслух то, что Фейвел до этого бормотал про себя.

Но потом щекочущее прикосновение вернулось. Он вспомнил, что на стуле позади него сидит мальчишка, Бендер Миттельман. Сорванец, не охотник до учения, вечно в поисках повода для очередной проделки. Фейвел устремил все внимание на священный текст — *He-eil Ha-Ga-dol Ha-Gi-bor v'Ha-No-rah* — и вдруг, сам ужаснувшись своей дерзости, рывком повернулся назад, намереваясь ухватить перышко в руке маленького надоедалы. Не может быть! — Бендер водил пальцем по строчкам развернутой на коленях книги. А потом случилось то, что впоследствии — когда мучения Фейвела уже кончились — он объяснял для себя мороком, кознями мелкого беса со дна своей души. А может, и происками самого Сатаны. Разумеется, резонно спросить: можно ли хоть о чем-то в жизни сказать, что оно кончилось? Мы ведь уже задавались подобным вопросом: как определить, с чего все началось? Как бы там ни было, некая сила приказала Фейвелу Морозову поднять глаза на женское отделение.

Там, в первом ряду, с непокрытой головой, сидела рыже-волосая женщина с круглым лицом. На ней было свободное платье или туника — он не знал, как это правильно называется, зато точно знал, что вещь эта неприлична. Руки ее были не прикрыты, а груди покоились на перилах. Даже издали он увидел, что ее маленькие черные глаза, как лучи прожектора, устремлены не куда-нибудь, а именно на него. Смешавшись, он отвернулся и вновь обратил лицо на восток, где складки занавеса мирно ниспадали на Священный Ковчег, а его отец, Сопоккинский ребе, и другие старейшины, сидели, подавшись вперед в своих креслах, вслушиваясь в тенор, нараспев читающий утреннюю молитву.

Увы, хоть он и отвернулся, перед глазами — теперь плотно зажмуренными — все еще стояла полная грудь незнакомки и белая плоть ее шеи. Что-то вроде инерции зрительного восприятия, благодаря которой мы видим, как кот преследует мышь, в то время как в действительности перед нами лишь череда сменяющих друг друга картинок. Только, пожалуй, у него это ощущение было сильнее: кожа на загривке все еще горела, словно ее касались эти жгучие волосы, а не заплутавшая муха и не пригрезившееся ему перо.

Остаток утра дался молодому Фейвелу не легко. Без всякого сомнения, он был человеком веры. Обычно долгие часы молитвы пролетали для него как считанные минуты. Монотонный звук песнопений приводил его в экстаз. Меж строк священных книг зияли расселины, в которых таились еще не обретенные алмазы мудрости. Он испытывал такую радость, что весь остаток недели буквально парил в воздухе, словно новоиспеченный муж, вскинутый к небу на руках друзей. В этот Шабат он был рассеян. Когда вдоль прохода стали передавать Тору, он не коснулся и не поцеловал ее. А когда начал говорить отец — голос его был слаб, речь сбивчива, — Фейвел вдруг уличил себя в немыслимом неповиновении: он был больше не способен ловить каждое его слово. Что сможет он ответить, когда вечером ребе, как всегда, держа трясущиеся ладони у губ, спросит: “Что же, нашел ли ты в моих утренних наставлениях зерно мудрости?” Фейвел, как обычно, поднимет на кровать тонкие как спички стариковские ноги. Как обычно, подсунет одеяло под веревочную швабру его бороды. Но что потом? Потом он будет стоять и молчать.

Только позже, когда мальчишка — не проказник Бендер Миттельман, а другой подросток, в очках, норовящих соскользнуть с крыльев еврейского носа, — стал рассуждать о значении Лестницы Якова, только тогда Фейвел обнаружил, что ему есть до этого дело. Что за окоlesiцу он несет? Дес-

кать, как и у спящего Якова, у каждого из нас тоже камень под головой. Камень равнодушия. Мы должны пробудиться и позаботиться о неприкаянных ангелах, снующих вверх и вниз по ступеням этой лестницы. Но кто же они, эти существа? Сирийские беженцы. А еще беженцы из Ливии, Судана и даже наши темнокожие братья, запертые по ту сторону Рио-Гранде. Фейвел чуть не расхохотался. Неужели этому учат наши иешивы? Выходит, зараза проникла и туда? Но вместо того чтобы рассмеяться, одернуть этого доморощенного Хомского, он ощутил благодарность. Ибо, подобно Якову, он проснулся. Снова стал самим собой. Ничто больше не жгло и не буравило ему шею. Теперь к ней прикасался лишь легкий освежающий бриз. Мало-помалу Фейвел Морозов повернул лицо к западу. Он поднял глаза. Круглолицая женщина — он вспомнил пухлую складку ее подбородка — исчезла. А вместе с ней и ее бесстыдство.

Неожиданно Фейвел осознал, что вместе с другими произносит слова поминального Кадиша. Почему? Сегодня не годовщина смерти матери. Но перед глазами была она, на смертном одре. И снова она, в гробу, который опускают все ниже и ниже в землю. Инерция зрения! Шесть лет спустя! Более того, он стал погружаться во мглу самых ранних впечатлений: серебристая обертка мятной жвачки, полученной из рук ребецн¹. Вогнутая поверхность ложки, тоже серебристая, в которой, словно духи, плывут их сдвоенные искаженные лица. Все дальше и дальше в прошлое, до тех пор, пока ему не стало казаться, что он ощущает вкус ее молока. *Да будет благословляемо и восхваляемо, чествуемо и величаемо, и превозносимо*, — завывал он слова молитвы. Грудь распирали пузырь эмоций. И он излился: *почитаемо, и возвеличено, и прославляемо имя Святого*. Слезы брызнули у него из глаз.

2

Жара висела над городом много дней. Фейвел пил воду стакан за стаканом и читал молитвы. Выполнял свои каждодневные обязанности — с тех пор как братья покинули дом, уехав один в Бруклин, другой в Лос-Анджелес, а третий в Монреаль, на него легли все заботы об отце: на улице он служил ему телохранителем, дома — сиделкой.

Ибо Сопоткинский ребе был уже не тот. Было время, когда он прочитывал по пятьсот писем в день, а писали ему со

1. Ребецн (ребецин) — жена раввина (ребе) в среде ашкеназских евреев.

всего света, с острова Бали, из Кейптауна, и каждому он отвечал. Случалось, что он лично принимал по пятьдесят, а то и по семьдесят евреев, искавших выздоровления, благословения или чуда. На таких праздничных трапезах гости не пили содовую, поданную на стол. Они забирали бутылки с собой и ставили их дома на подоконник, чтобы в воде преломлялся солнечный свет. Говорили, что, подобно Соломону, он знал язык птиц.

Теперь все было иначе. Будучи уже не в силах допустить до себя всех, он не допускал никого. Младший Морозов приносил ему записки в картонной коробке. Его отец взмахивал над ними рукой, как это делает папа, и благословение считалось свершившимся. Толпы все еще обступали его серебряный “субару”, когда в будние дни он приезжал на молитвенные собрания, но мало кто теперь выкрикивал его имя или испрашивал его милости. В Шабат он шаркающей походкой преодолевал три квартала от дома до синагоги, опираясь на две трости: ходунки с миниатюрными колесиками были под запретом. Теперь последователи ребе молча стояли в два-три ряда вдоль его пути. Святость как будто происходила из его древности — так люди из первобытных племен поклоняются причудливому валуну или роще, известной им тысячу лет.

Само собой в общине ожидали, что Фейвел пойдет по стопам отца. Кое-кто даже шепотом произносил слово *ребе*. Но сам молодой человек сомневался, что станет достойным преемником. Дело было не в познаниях, Фейвел вполне оправдывал значение своего имени — “блестящий”. Он горячо, всем сердцем любил своего Бога, да будет благословенно имя Его, и находил отраду в соплеменниках-евреях. В отличие от многих, он твердо знал, что мир пребывает в хрупком равновесии между добром и злом, и малейшее доброе дело, выполнение любой из шестисот тринадцати мицвот, может стать решающим. Он был благочестив. Он был чист.

Но чудотворцем он не был и часто спрашивал себя, суждено ли ему им стать. Как обрести способность говорить на волшебном языке? Он смотрел на птиц и видел всего лишь голубей. Серых и черных, вокруг шеи — полоска с зеленоватым отливом, вроде дешевого обручального кольца. Их воркование и квохтанье ничего для него не значили. Годом раньше краснохвостый ястреб свил гнездо через улицу от их узкого здания. Фейвел наблюдал, как он кружит, парит, висит в воздухе. Однажды, слегка устыдившись себя, он приоткрыл окно, чтобы послушать, не скажет ли он чего. Но, нет. Только хриплый визг нечистого грызуна — крысы, мыши или белки? — попавшего к нему в когти. Будь Фейвел Соломоном, он

мог бы отдать приказ: *Пощади его*. Но он был бессилен. К тому же потерял дар речи. Отец, совершивший столько чудес, не научил его этой азбуке.

А между тем утром следующего Шабата женщина вновь была на балконе. Фейвел ощутил это, когда во время молитвы — как обычно он произносил ее полупрошептом — кожа в том месте у него на шее вдруг вспыхнула. Но теперь он поклялся не обращать на это внимания. Побороть зуд, вытерпеть щекотку. Не оборачиваться. Но медленно, словно под действием системы блоков, он обернулся. Круглое, славянское лицо. Маленький острый нос, эти щеки, подбородок. Губы нарочно покрашены под цвет волос. Как и ногти на пальцах, обхвативших перила. Каким-то образом она ухитрялась не моргать. Он так и стоял, уставившись вверх. Она же смотрела вниз, и казалось, где-то на полпути, в воздухе, лучи их взглядов встречаются. Потом ее рот приоткрылся, и он в ужасе отвернулся.

Пружины, приводившие в движение его губы, продолжали работать, но мысли были все еще поглощены молодой женщиной там, наверху. *Молодой?* Теперь он осознал, что она старше него. Тридцать, может быть, тридцать пять. Вьющиеся локоны ее медных волос непокрыты, значит — не замужем. Кожа на шее — словно облита молоком. И не только на шее, перед глазами стояли ее меловые груди, вздымающиеся при каждом вздохе. Зацепив пальцем воротничок, он потянул его вниз. Шею больше не жгло. Жар разлился пятном по темной ткани его пальто. Вниз по спине, от позвонка к позвонку. Покачиваясь, словно у него кружится голова, навлекая на себя подозрения, он какой-то фокстротной походкой — правой, левой, снова правой — ретировался за пределы области Божественного Присутствия.

С тех пор она возвращалась каждый Шабат. И в те дни, когда Господь отдыхал, Фейвел не находил себе покоя. Вновь и вновь глаза их встречались, и губы ее размыкались. Словно вход в пещеру теней. А еще одно ее веко — как он не заметил этого раньше — чуть нависало над блестящей поверхностью глаза. Казалось — и он не стал отгонять эту мысль — она вот-вот подмигнет ему.

На пятый Шабат она не пришла. Возликовал ли младший из братьев Морозовых? *Es farshteyt sikh!* Разумеется. Испытал ли он что-либо помимо радости? Такой вопрос он себе не задавал. Но те, кто был рядом, видели, что он повесил голову и ходил, втиснув сжатые кулаки глубоко в карманы брюк. Старый Самуэль Лейб, который во время оно именовался главным подручным ребе, не поленился осведомиться у молодого

хозяина, не желает ли тот выпить чаю с расторопшей¹, дескать, очень полезно для печени.

Утро шестого Шабата: и снова ее нет. *Слава Богу*, сказал себе Фейвел и произнес короткую благодарственную молитву. Но на следующий день он обнаружил, что испытания его только начались. Какая жара стояла в то воскресенье! Солнце разогнало стайку худосочных облаков. Самуэль Лейб припарковал “субару”, шаркнув шинами по бордюру. Фейвел вылез из машины первым, чтобы открыть противоположную дверь отцу. Всего несколько минут в пути — а он был весь в поту. Болтающиеся пейсы липли к коже. Приковылявший Самуэль Лейб подхватил ребе под левую руку. Глядя на стариков, невозможно было сказать, кто из них кого поддерживает. Несколько десятков иудеев — все в белом и черном — расступились перед ними, ни дать ни взять — сцена из “Десяти заповедей”², разве что не цветная. Но один человек остался, где был. И тут Фейвел понял, что вспотел вовсе не от жары. До него вдруг дошло — и это заставило его содрогнуться, — что он уже заметил ее через заднее стекло машины. Могло ли быть иначе? Ее словно подсвечивал прожектор. Алое платье висело на бретельках как транспарант на растяжках: Вавилонская Блудница.

Несколько размашистых шагов, и он уже стоял между отцом и этой... — впервые он усомнился, что глаза его не лгут. Действительно ли это настоящая женщина из плоти и крови? Как узнать наверняка? Едва знакомая тетушка, две невестки да маленькая племянница из Бруклина, как-то забравшаяся к нему на колени, — вот и все женщины, которых он знал по имени. Разговаривая с девушками-продавщицами, Фейвел имел обыкновение смотреть в землю или в пустоту перед собой. Перегородка, разделяющая мужчин и женщин в храме, вырастала вокруг него, куда бы он ни направился. Они были на балконе, а он на земле. Вот почему в своей наивности он вообразил, что существо, вновь и вновь возникающее у него перед глазами, возможно, не более чем призрак.

“Искушение, — пробормотал он, — посланное мне от лукавого”.

Он отважился мельком взглянуть через плечо. Она была там. Накрашенные губы поблескивали в лучах солнца. Ямки

1. Расторопша (*лат.* *Silybum*) — род травянистых растений семейства астровые.

2. “Десять заповедей” (*англ.* “The Ten Commandments”, 1956) — фильм на библейскую тему режиссера Сесила Б. Демилля, цветной ремейк одноимённого немого фильма, снятого тем же режиссером в 1923 г.

за ключицами лоснились от влаги. Похоже, все-таки она была человеческим существом. Трое мужчин спешно скрылись в здании.

На следующий день она снова была на тротуаре, так же, как и день спустя, под моросящим дождем. Ее влажные волосы падали на плечи, огонь их погас. Шелк или хлопок ее платья соборился на полной груди и на животе. “Как драпировка на статуе в музее”, — мелькнула в голове у Фейвела стыдливая мысль. В среду все было иначе. Снова вышло солнце. Он вел себе по тротуару, когда женщина шагнула вперед и попыталась сунуть ему записку с молитвой. “Нет, нет, — то были первые его слова, обращенные к ней, — отдайте квитл Самуэлю Лейбу. Не мне”.

Она пропустила их мимо ушей, продолжая протягивать ему сложенный листок. Он отмахнулся от нее свободной рукой. Отец уже поворачивал голову в сторону возмутительницы спокойствия, так же, как и его бородатый помощник. Внезапно женщина — пышнотелая, с округлыми плечами — шальным движением впихнула записку ему в карман и скрылась в толпе верующих. “Внемли, Израиль!” — нараспев произносил Фейвел Морозов десять минут спустя, но рука его ощупывала внутренность кармана. Если там ничего не окажется, значит, сомнений нет: она — лишь вымысел, фантазия, летний сон. Но записка была там, между пальцами, плотная и осязаемая. Он извлек ее. Развернул. Прочитал написанное. Это была не молитва. И адресована она была не Всевышнему.

Lib gehat, — начиналась она: “Милый и единственный, могу ли я говорить с тобой?”

3

Западный фольклор — будь то сказки и мифы или пьесы Шекспира — обычно рисует сцены ухаживания, в которых женщина взирает на своего поклонника с башни замка, или из высокого окна, или облокотившись на перила балкона, в то время как ее кавалер стоит на земле, устремив взор вверх, иногда играя при этом на мандолине. В этой еврейской саге все было не так. Фейвел Морозов, всегда встававший чуть свет, поднялся с постели и открыл жалюзи на окне своей спальни. Первым делом по утрам он всегда выглядывал на улицу — посмотреть, какой день ниспослал ему Всевышний. Там, в этот ранний час, он увидел Мериву — этим именем подписала свое послание упрямая незнакомка. Она стояла, прислонясь к закрытой ставнями витрине магазина напротив, часть лица скрывал дым сигареты. Фейвел рванул шнурок жалюзи, но,

видимо, недостаточно быстро: он успел разглядеть, как открылись ее губы — их яркий оттенок был виден даже на таком расстоянии.

С колотящимся сердцем он принялся шагать вокруг кровати сначала в одну сторону, потом в другую, словно совершая первобытный ритуал, избавляющий от любых напастей. Когда он украдкой выглянул на улицу сквозь щелку жалюзи, она все еще была там. Что же будет, когда Самуэль Лейб подгонит “субару”? А вдруг она подбежит к машине с новой запиской? Но нет. Слава Богу, к тому времени она ушла.

Но на рассвете следующего дня вернулась и с тех пор возвращалась каждое утро, даже в Шабат. Вперив тоскливый взгляд в его окно, она ждала, когда он откроет жалюзи. Что он неизменно и делал, только не за тем, чтобы узнать, каким будет день, дарованный ему Господом, — ждет ли его солнце, дождь, ветер или, как сказано в Писании, роса небесная — а скорее за тем, чтобы убедиться, что внизу, прислонившись к гофрированной ставне цветочного магазина, стоит женщина в красном, с сигаретой в руке. Так минуло целых две недели. Каждое утро сердце его, как язык колокола, сотрясало стенки грудной клетки, так что по телу пробегала дрожь. Невидимая сила притягивала его к окну, где он всегда поворачивал планки жалюзи вверх, притворяясь, что смотрит на небо, а потом, повернув их вниз, смотрел туда, где стояла она, — заметив его, женщина склоняла голову набок и поворотом запястья отводила сигарету в сторону. Обмениваясь этими сигналами, они поддерживали связь.

Пока не настал тот день — точнее, ночь: молодой Фейвел Морозов спал глубоким сном. Ему снилось — правда сновидение было скомканным и путаным — будто бы мать дала ему серебряную обертку от “Риглис спирминт”, а теперь она сложилась в серебряную шапочку у него на голове. Абигейл, Эбби, его маленькая племянница, похоже, вознамерилась завладеть ей: она тянула к ней руки, забравшись к нему на колени. А теперь она уже была женщиной, с фигурой женщины. Грудь ее были прямо у него перед глазами. Разумеется, он бежал. Его трясло от стыда. А потом он смотрел в окно своей спальни, но ни жалюзи, ни гардин на окне не было. Не было даже стекла. Он увидел знакомого краснохвостого ястреба, кружащего в высоте. Лежа на своем тюфяке, без одежды и ночной сорочки, он видел, как птица села на подоконник, охватив его край скрюченными когтями. Вместе с ней в комнату вошел дневной зной. Но Фейвел словно примерз к месту. Птица была уже на белой плоскости матраса и придвигалась все ближе.

В памяти всплыл греческий миф. Кто он — Леда? Или Лебедь? Он вспомнил Соломона и его возлюбленную с глазами голубки. Существо окутало его словно облако. Он содрогнулся под весом его крыльев. Вот, подумал он, сейчас мне откроется язык птиц. Перья. Кругом были перья. Невыразимая радость переполнила его.

Он проснулся чуть свет. Живот, бедра были покрыты теми мастью, о которых пел Соломон. Несколько минут спустя он уже стоял у окна. Она была там, внизу. На этот раз он полностью убрал жалюзи. Поднял оконную раму. Он увидел, как она — наверное, удивившись, — шагнула к бордюру по ту сторону разделявшей их улицы. Он высунулся наружу и выпустил из руки клочок бумаги; колыхаясь в неподвижном воздухе, тот опустился на землю. Женщина посмотрела по сторонам. Потушила каблуком туфельки сигарету. Потом перешла улицу, наклонилась и подняла записку. Прочла: *Да. О чем вы желаете говорить?* Выгнув спину, чтобы видеть его, она посмотрела вверх. Даже в сумерках он разглядел, что она улыбается.

4

Lib Gihat. Мой Фейвел. Я пишу тебе. Сможешь ли ты разобрат этот сбивчивый почерк? Рука моя дрожит, когда я думаю о тебе. А я думаю о тебе весь день напролет. И всю ночь, и горю от этих мыслей как огненный столп.

Вам не следует говорить такие вещи. Вы должны очистить ваш разум. Вам не следует упоминать слова, которые десницей своей начертал Хашем. [Шемот¹ 13:21]. Не пристало женщине обращаться к мужчине, как Вы обращаетесь ко мне. Зачем Вы преследуете меня? Зачем стоите у входа в храм? Зачем Вы у меня под окном? Я стараюсь жить, как велит Тора. Тот, с кем вы говорите, чист.

У меня нет выбора. С тех пор, как я увидела тебя. Ты помнишь это? Я была в женском отделении. Ты раскачивался всем телом внизу подо мной. Я не хотела уходить. Но ушла. Мальчик в очках, тот, что говорил о лестнице Якова. Ему было столько же лет, сколько было бы моему сыну, будь он жив. Но на следующий день я снова увидела тебя, ты был с отцом на китайском рынке. Ты нес две картошки, две маленькие “картошки-пружинки” в веревочной сетке. Я отдала тебе мое сердце. Когда мы смо-

1. Шемот — Вторая книга Моисея, Исход.

жем встретиться? Я хочу услышать твой голос. О, ты наверное не поверишь, когда прочитаешь, но я уже слышала его. Когда ты шептал молитвы, твои слова достигали меня. По своду крыши — вверх по стенам и под потолком, они долетали до того места, где я сидела, у меня было свое место. Я слышала тебя. Разве это не чудо? Твой милый голос.

[157]

ил 8/2020

Мы не можем встретиться. Не думайте об этом! Я вновь спрашиваю Вас: чего Вы от меня хотите? Вы одеваетесь нескромно. Хорошо, что я больше не вижу Вас на улице. Это помогает мне контролировать собственные мысли.

Действительно: Морозов больше не видел эту женщину, уже не первой молодости, с ее полными плечами и намеком на второй подбородок. С ее белой шеей. Но каждое утро, незадолго до того, как Самуэль Лейб подгонял к дверям хэчбэк “субару”, Фейвел быстро пересекал улицу в направлении закрытого ставнями цветочного магазина и шарил рукой в узком зазоре между металлическим листом и кирпичной стеной. Там было ее послание. Потом он помещал свой собственный маленький свиток в ту же расселину, как еврей, оставляющий молитву у Стены плача.

Не говори так, мой милый, мой единственный Фейвел, не говори, что не сможем встретиться. Это как приговор в устах судьи. Ведь если я не встречу с тобой, не поговорю, не почувствую тебя рядом со мной, жизнь моя кончена.

Мисс Мерива, ваше имя подходит вам как нельзя лучше — навязчивая, вздорная. Вы испытываете терпение, подобно народу нашему, возроптавшему на Моисея, когда тот не смог утолить их жажду [Шемот 17:2]. Пора положить конец нашим пререканиям. Прошу Вас не оставлять больше записок для меня. Я не могу помочь Вам. И не могу дать Вам того, о чем Вы просите.

Она повиновалась. На следующий день записки не было. На радостях он, по обычаю хасидов, исполнил маленький ритуальный танец. В ту ночь, как и несколько ночей после того, он спал без сновидений. Он больше не ходил проверять тайную нишу в противоположной стене. По утрам он хладнокровно наблюдал, как цветочник поднимает ролл-ставню и расставляет свой товар. Он любовался сочетаниями оттенков и яркими головками цветов на тонких прямых стеблях. Его жизнь возвращалась в привычное русло учения, веры и сыновней заботы. Так что, пожалуй, даже специалист по глубин-

ной психологии не смог бы дать вразумительного ответа на вопрос, почему на четвертый день, еще затемно, молодой Морозов, подобно вору, прокрался на ту сторону улицы и запустил пальцы в узкую щель между металлом и кирпичом. Уж не привлек ли его туда нектар гладиолусов и аромат ирисов? У него перехватило дыхание — тайник был пуст. Он оставил собственную записку:

Мисс Мерива, я пытался уверить себя, что эти последние дни — не одно сплошное мучение, но безуспешно. Вы говорите, что желаете встретиться. Вы говорите, что желаете поговорить. Вы говорите, что желаете — мне нелегко написать эти слова — почувствовать меня рядом с собой. Милая моя, я тоже желаю этого.

Милый, единственный Фейвел, я чувствовала себя брошенной в пустыне, когда ты отверг меня. Я не спала. Я не ела. От меня осталась лишь тень. Каждая минута превратилась в час. А час стал длиною в жизнь! А теперь! Теперь я чувствую, что скоро буду держать твою руку между моими ладонями. Эти длинные, бледные, нежные пальцы. Простишь ли ты меня, если я скажу, что хочу целовать их один за другим? И твои губы — нет, про них я умолчу. Но скоро они будут шептать совсем рядом со мной, близко, так близко, а не через океан женского отделения, не через пустоту под куполом. Шептать мне! Возможно ли это? Встретимся завтра у твоего окна. Твоя Мерива, вздорная Мерива, жаждущая Мерива будет там.

И она пришла, но одетая совершенно по-иному. Похожая на кающуюся грешницу: ее непокорные рыжие волосы спрятаны под неким подобием капора, а алое платье наполовину скрыто под синей накидкой с высоким воротничком. Но он видел тяжелые, как у трефовой дамы, веки и ее маленькие белые руки, тоже как с картинки на игральной карте. Он хотел выпрыгнуть в окно. Хотел крикнуть ей. *Он* был тем, кого одолела жажда. Он выпил стакан воды, потом еще один. Когда он вернулся к окну, ее уже не было.

Это невозможно. Невозможно, пока жив ребе. Я всегда при нем, дома и в миру. Это значит, что мы должны ждать. Сколько? Я разорван на две половины. Да живет он вечно, как мечта о Царе Машиахе¹; да умрет он сегодня же вечером, ведь тогда я мог

1. Царь Машиах — мессия в иудаизме, идеальный государь мессианских времен.

бы держать тебя в объятиях. Теперь я должен исповедоваться девять раз — и девять раз по девяти. Ибо раскаяние мое не в силах искупить мой грех. Я хочу, чтобы ты была рядом со мной.

Милый мой, любовь моя, сердце мое, давай подумаем. Должен быть способ. Я не прошу о целой вечности. Я не прошу и часа. Лишь бы хватило времени коснуться изгиба твоих губ. Лизнуть кожу на твоей шее. Охватить губами один из этих милых, белых, дрожащих пальцев. Сбеги! Когда он спит. Да живет он вечно. Лишь бы нам улучшить момент.

Откуда ты взялась? Упала с неба? Или пришла из преисподней? Жаль, что я не Баал Шем¹. Не имею амулетов, не творю чудеса. Не знаю, как мой отец, священных имен и тайных заклиний. Тогда бы ты исчезла! Тогда бы ты рассеялась как дым. Быть без тебя невыносимо. Я задыхаюсь. Я умираю.

Я дышу за нас обоих. Губы мои прижаты к твоим. Я чувствую твои легкие. Я вовсе не демон. И не змий-искуситель. Но я обвиняю твои ноги своими.

Ты сидишь в женском отделении. С непокрытой головой. С непокрытой грудью. Глаза твои горят. Но ты не молишься. Ужасная мысль посетила меня: ты хотя бы еврейка?

Еврейка по отцу, милый Фейвел. Еврейка по матери. И еврейка по мужу. Который сбежал. И ребенок мой был евреем те три дня, что он прожил. И любовником моим будет еврей. Твоя белая рубашка. Твое черное пальто. Кипа у тебя на голове. Твои лоснящиеся брюки. Твои носки. Твои туфли. Когда все это будет снято, расстегнуто пуговица за пуговицей, ты останешься евреем. Как и я остаюсь еврейкой, печальной, недостойной, не знающей молитв, в красном платье.

Тиша-бе-Ав² — в этот день мы вспоминаем о разрушении обоих храмов — начинается через четыре дня. Вместо записки я оставляю ключ. Дом будет пуст. Ребе, Самуэль Лейб и этот гнусный Фейвел Морозов будут в храме весь вечер и до поздней ночи. Это святой день скорби. Я буду ходить без обуви. Я буду горе-

1. Баал Шем — в переводе с иврита “обладатель имени Бога”, практикующий каббалист, чудотворец еврейского народного фольклора.

2. Тиша-бе-Ав (в переводе с иврита “девятое ава”) — национальный день траура еврейского народа, день, когда были разрушены Первый и Второй иерусалимские храмы.

вать, сидя на низком табурете. А после я нарушу все заповеди разом. Входи как стемнеет, Иезавель, Лилит, поднимайся по лестнице. Моя комната на втором этаже. Самуэль Лейб живет на первом, охраняя дверь и храня верность. Он и я отнесем ребенка на третий этаж. Уложим его жалкие тонкие ноги на кровать. Я расскажу ему о зернах мудрости, что я приобрел. А потом спущусь этажом ниже. Туда, где меня ждет гибель.

5

Все вышло так, как и представлял себе сын Сопоткинського ребенка. Стоя в парусиновых тапочках на тонкой циновке, он оплакивал память о благодатном Сионе, ставшую горькой, как желчь и полынь; но не о дочерях иерусалимских, овдовевших, лишенных своих чад и отданных на поругание были его мысли, а о его собственной любовнице, о той, что в этот самый момент наверняка уже нащупывала ключ в их тайнике. Завладев им, она пересечет пустынную улицу и вставит его в замок их входной двери. Он видел, как распаивается дверь. Как она входит в тускло освещенную прихожую, а потом в смежную с ней комнату — что-то вроде гостиной с потертыми креслами и вышитыми подушками. Книжки стоят, как старики, прислонившись друг к другу — не только на полках, но и на полу, выстроившись неровными рядами. Она находит лестницу. Платье ее успевает соскользнуть с одного плеча по пути наверх.

Все это Фейвел, терзаемый лихорадкой, видел как наяву: вот она поднимается на второй этаж и, ведомая каким-то шестым чувством, проходит прямо в его комнату. Кровать аккуратно прибрана. Венский стул. Маленькое бюро с его бесчисленными детскими секретами. Вытоптанный коврик. Черно-белые фотографии в рамках: раввины и ребенок, окладистые бороды, лица из прошлого. Теперь ее черед стоять у окна — красное платье, такое бесстыдное спереди, как ящик стола, чье содержимое вывалено наружу. Вот она отогнула рейку жалюзи, смотрит вниз, смотрит наружу. Потом бросает взгляд на запястье — сколько времени? Стоя на коленях среди галдящей, стенающей толпы молельщиков, Морозов шарит в кармане жилетки, нащупывая свои собственные часы. Позволено ли это? Ведь запрещено есть. Запрещено мыться. Запрещено даже приветствовать веселым возгласом другого еврея. Но разве, потакая своему вождению, не намерен он нарушить самый суровый из запретов? Он смотрит на циферблат. Еще два часа.

Здесь способность ясновидения — в конце концов, она была не более чем плод его воображения — покинула его. Что

она будет делать всю эту бездну времени? Шагать по дорожке, протоптанной им на ковре? Сидеть в кресле, раскинув ноги или положив одну на другую? А может, останется у окна, дожидаясь, пока четырехногий ребе со своим вечным спутником не прошаркают по тротуару? Или ляжет на кровать? Но произошло именно то, чего он никак не мог вообразить: она вышла из его комнаты, закрыв за собой дверь, и поднялась этажом выше.

Там, сидя в неосвещенном углу, она и пряталась, когда трое иудеев вернулись домой. Спотыкаясь, со вздохами и стонами, как будто продолжая скорбеть, они поднялись по лестнице. У двери в комнату ребе оба костыля упали на пол. Их забрал, уходя к себе, Самуэль Лейб. Фейвел подвел ребе к краю кровати. Мыться в эту ночь скорби было запрещено всем, а святому — даже опускать в воду пальцы выше костяшек, так что сын просто помог отцу раздеться. Соскользнули со ступней пластиковые туфли, за ними — чулки. Штаны обрушились на пол, словно храм. Ноги — на них было жалко смотреть — болтались как две палочки, стучаясь друг о друга, пока Фейвел поддерживая старика, укладывал его на кровать. Он так грубо вытянул из-под головы подушку, что в шее у патриарха громко хрустнуло, а затылок ударился о матрас.

Мерива была еврейкой, но не знала премудростей веры: ей было невдомек, что в такую ночь непозволительно спать с удобствами. Неведом был ей и смысл слов, которые Фейвел пробормотал, наклонившись к самому уху восьмидесятилетнего старца. Моэд Катан. Санхедрин 104. Мудрость скорби. Смысл разрушения. Старик кивнул; он поднял руку. Благословение? Тогда Фейвел развернулся и, оставив за собой лишь тонкую полоску лунного света, вышел из комнаты. Женщина ждала дольше, чем было нужно: Фейвел уже давно закрыл за собой свою собственную дверь, когда она наконец пошевелилась и, протянув вперед обнаженную руку, отворила дверь в комнату его отца.

А что же Фейвел — один в своей комнате? Могут ли слова описать чувства, которые, лязгая как скрещенные сабли, сотрясали его изнутри? Ее там не было! И хотя он чуть слышным шепотом простонал ее имя, она не появилась. Глупец, он заглянул под кровать. Он открыл дверь своего шкафа. Он был посмешищем, героем фарса. И, по законам жанра, он старомодным театральным жестом ударил себя в грудь. Она предала его! Как мог он довериться женщине, с которой не перекинулся и парой слов? Всему виной плоть! Ее шея. Ее вздымающаяся грудь. А для нее это была забава, игра. Он не находил облегчения в том, что этот священный день не будет осквернен скот-

ским, свинским поступком на его замаранных простынях; нет, он уже осквернил его в мыслях.

В припадке самоуничтожения он рухнул на колени. Но тут же поднялся на ноги. Что если ключ в их тайнике завалился в щель? Или хуже, гораздо хуже: торопясь на их встречу, она попала под автомобиль? И теперь в больнице? А может, она, одетая так соблазнительно, стала жертвой какого-нибудь злодея? В три шага оказался он у окна, выглянул в просвет между рейками жалюзи. Минута тянулась за минутой, а он все стоял, застыв в судорожной надежде, окаменев, как жена Лота, которая тоже не удержалась от взгляда на содомское беззаконие.

Но мерзость творилась не в измученной душе Фейвела и не в далеком городе посреди пустыни, а всего лишь в пяти футах над его головой. Там Сопецкийский ребе уже приподнялся на локтях, выкатив глаза на женщину в красном, приближавшуюся к нему.

“Кто ты? — спросил патриарх. — Чего ты хочешь? Я сплю?”

Здание, построенное лет сто, а то и больше назад, было каменным. Скрипучие полы покоились на капитальном основании. Так что Морозов-младший не мог слышать трех вопросов своего отца. Не донесся до него и слабый, сдавленный крик, раздавшийся около получаса спустя: *Oy, Gotenyu!* Несчастный старик: охваченный ужасом, он вновь заговорил на языке давно минувших дней: *Geva'ldave!* А что же Самуэль Лейб? Он спал, похрапывая, на первом этаже в задней части здания и тоже не слышал этого призыва о помощи. Но даже дубовые доски пола, уложенные на мощные деревянные балки, не могли заглушить глухой стук, раздавшийся как гром у Фейвела над головой.

Юноша, все еще стоявший у окна, вышел из оцепенения. Что это за звук? Как кулаком по дереву. Пару секунд он стоял, склонив голову набок. Как животное, застигнутое врасплох в своей норе, — писатель Кафка писал про таких существ, — он замер прислушиваясь. Звук больше не было. Но он не пошевелился. Его собственное сердце, подумал он, сотрясало гораздо сильнее. Так прошла целая секунда. Потом его бледные, заостренные уши, доставшиеся ему от предков-ашкеназов, уловили звук шагов на не застланной коврами лестнице. На втором этаже шаги стихли. А потом Мерива открыла дверь и вошла в его комнату.

— Ты! — воскликнул он. — Ты пришла!

— А ты сомневался?

— Но так поздно? И что с тобой случилось?

Он не отрываясь смотрел на нее. Огненные локоны ее волос торчали во все стороны. Как будто к ним никогда не при-

касался гребень. Платье тоже сидело вкривь и вкось, измятое и изорванное. Один лоскут висел спереди, в прорехе виднелся сосок. А поперек деблоой груди шел порез, сочившийся капельками крови; еще одна царапина сбегала от щеки к подбородку. Он вспомнил свою страшную мысль:

- Кто-то пристал к тебе! Какой-то мерзавец. На улице.
- Нет, не мерзавец, мой милый Фейвел. Не на улице.
- Но твое платье? Твои раны?

Он чуть не сказал инстинктивно: *Прикройся*. Они смотрели друг на друга, он все еще у окна, а она — у двери. Потом, как в ступоре, он эхом повторил ее слова: *“Не на улице?”*

Она сделала шаг вперед:

- Я была этажом выше.

И снова, тупо, он повторил то, что она сказала: “Выше?” — кости в его теле превратились в песок. Мысли неслись вскачь: шаги на лестнице не поднимались, они спускались. И шум, тот глухой удар, послышался оттуда же. Что это значит? Но он уже знал, что это значит до того, как она заговорила опять.

- Я была с твоим отцом.

— С моим отцом! Сопоцкиным ребе? Как такое может быть?

— А почему бы и нет? Я пришла, как еврейская женщина, искать его благословения.

Молодой Фейвел едва удержался от крика: *“Но ты же должна была прийти ко мне!”* Вот что он сказал вместо этого:

— Ребе уже не принимает тех, кто испрашивает благословения. Теперь надо записывать свое желание. А записку отдавать Самуэлю Лейбу. Или мне.

— Так он мне и сказал. Но чудеса творит он, а не ты. А я ишу именно чуда.

— Какого чуда? Ребе уже давно не совершает чудес. Это было давно. Когда он еще был ребенком. Когда был молодым.

— Да, он говорил мне и это, что больше не наделен силами, которыми владел в прошлом. А ты в будущем овладеешь теми, которых не имеешь сейчас.

Эти слова потрясли его.

— Он так сказал?.. Мне суждено стать Баал Шемом? И подняться в высшие сферы?

Женщина рассмеялась.

- Да, такому бледному червяку, как ты.

- Да как ты...

Сам того не сознавая, он отвел руку за спину, пряча стиснутый кулак.

— Что? Так же, как и твой отец? Этих ссадин и порезов не достаточно?

Бедный мальчишка схватился за голову.

— У меня все перепуталось. Прошу тебя, прости меня. Я ничего не понимаю. Ты была с ним этот час. Он не мог причинить тебе боль. Каждому еврею в целом мире известно о его доброте. Один раз на фарбрэнген¹ собрались сотни людей, была музыка, танцы — и вдруг все остановилось. Ребе открыл окно. Он открыл все окна. И мы ждали, пока не вылетит маленькая муха.

— Да, и всем евреям в мире известно о его способностях. Он не потерял их. Просто забыл. Мне пришлось заставить его вспомнить. Это очень огорчило его, потому что амнезия была не единственным врагом. Он хотел того, чего хотят все мужчины: остаться таким, как он есть. Так что пришлось побороться. Но в конце концов, мой Фейвел, все к нему вернулось. Все эти заклатья и ворожба, которые скрыты в языке птиц.

— Но дал ли он тебе то, зачем ты пришла? Получила ли ты чудо, которого искала?

— Пока нет, мой Фейвел. Твой отец ошибался в отношении своих способностей, но насчет тебя он был прав. Прошу тебя, раздевайся.

Несмотря на все свое смятение, он ждал именно этого, поэтому раненой женщине не пришлось просить его дважды. Сосчитаем до магического числа восемь — и вот уже вся его одежда свалена в кучу на полу. За ней — исподнее. Мерива тем временем подняла подол своего красного платья и стянула его через голову. Белье в эту ночь она посчитала лишним.

— Посмотри на меня, — сказала женщина, хотя Фейвел Морозов и так смотрел. — Разве не противоестественно, чтобы женщина вроде меня была бесплодна? Ну разве это не шутка Всевышнего? Притом, что такой, как ты, наделен силой?

Он знал, что она имеет в виду. Ее плоть, обильная, складками обволакивающая связки и сухожилия, кричала о женском здоровье. Живот, округлый, алебастровый, с подрагивающими венами, соскальзывал в покрытую темно-рыжей порослью впадину. Он же — посмешище, шут гороховый; что ж, и червь требует своего места под солнцем.

Они легли на матрас; она перевернулась, оседлав его.

— Что за благословение? — спросил он. — Ты не сказала мне.

— Я говорила, — ответила она. — У тебя тоже никудышная память. Мой сын. Мой сын, которому было три дня. Он будет возвращен мне.

1. Фарбрэнген — хасидское застолье.

— Это невозможно. Даже величайшему чудотворцу такое не под силу.

— Увидим, — сказала она.

А потом, когда то, о чем он мечтал в этой самой комнате, на этом самом матрасе, стало явью, она обвила вокруг него свои руки и ноги и, приблизив свои губы к самому его уху, зашебетала, как певчая птица: *Agla Ahtza Alfa Avik Azha*, и так весь алфавит, от первой до последней буквы.

6

Мы ведь уже говорили о том, как сложно определить, откуда на самом деле начинаются истории? О том, что приходится возвращаться все дальше и дальше по спирали времени? Что ж, по крайней мере, мы можем сказать, чем все закончилось. Самуэль Лейб нашел ребе мертвым, на полу рядом с кроватью. Он лежал, разметав тощие руки и ноги. С широко открытыми глазами. Поэтому пошли слухи, что он умер в экстазе и был принят в чертог Царя Машиаха. Евреи даже строили предположения о том, какая между ними могла состояться беседа. Наверняка ему был поведен срок возвращения Мессии в мир живых.

Похороны были пышными и освещались в газетах. С обоих концов страны и из Монреаля приехали братья Фейвела. Племянница вновь подбежала к нему, хотя теперь она и была ему почти до подмышек. По прошествии некоторого времени, когда утихли все споры, молодой Морозов стал новым ребе. Пророчество его отца, да будет благословенна память о праведных, не сбылось. Его сын знал на память все Священные Имена, но не проник в надмирные области и не стал Бал Шемом, творящим чудеса. Он словно позабыл все то, чего никогда не знал. Тем не менее люди приходят к нему за благословением, и как всякий, кто находится в добром здравии, он принимает их лично. Ученость его продолжает приумножаться, вызывая всеобщее уважение. По сей день он не женат, что, разумеется, служит поводом для беспокойства. Люди задаются вопросом — и можно ли винить их в этом? Не станет ли он последним в династии Морозовых, насчитывающей столько поколений?

Мерива — искустельница, жаждущая в пустыне, — получила то, чего желала. День за днем, облаченная в скромное черное, а иногда серое платье, она сидела и наблюдала, как растет ее живот. Налитые жизнью вены трепетали под ее пальцами. Остаток лета и начало осени она провела, сидя на скамейке в маленьком городском парке. Голуби и другие пти-

[165]

ил 8/2020

цы выхаживали кругами по земле или ворковали, рассевшись на ветках. Когда наступили холода, она переместилась в кафе, где сидела за чашкой кофе, уставившись наружу сквозь запотевшие стекла. В конце седьмого месяца, посреди февраля, люди в кафе вдруг стали казаться ей птицами: их головы стали птичьими, а носы превратились в клювы. Когда родился ребенок, она, взглянув на него, разразилась криком. Ей пришло в голову, что у младенца голова мертвого ребенка и, что уж совсем немыслимо, — его борода со сваявшимися прядями. Так что чадо ее опять у нее забрали. Она, как и мы, не может сказать, кого произвела свет: девочку или — быть может, новую надежду евреев? — мальчика. Сама же бедная женщина живет в лечебнице, где проводит дни, отсылая ангелов направо, а демонов, одолеваяющих ее, — налево.